
Leyla Imm
Спасибо
за ветер
Прозаические миниатюры

Leyla Imm
Спасибо за ветер

https://litres.ru/74738390
SelfPub; 2026

Аннотация

«Спасибо за ветер» — это прежде всего литература чувств, образов, памяти и переживаний. Лирические миниатюры, в которых отражаются мгновения жизни, человеческие чувства, размышления и впечатления. Книга о том, что остаётся в душе, о мимолётном и вечном, о незримой красоте мира и о благодарности самому существованию.

Содержание

Отзывы читателей 6
Часть I 8
Как зовут бабочку? 8
Как зовут бабочку? 8
Притча о Танцующей Рыбке 10
Незабудка 13
Небесные барабаны 17
Очень короткая сказка 20
Два ангела 21
Времена года 24
Зима. Декабрь 24
Весна. Март 25
Лето. Август 26
Осень. Ноябрьский дождь 28
Цапелька летит, цапелька улетает 30
Парадокс танго 35
Парадокс танго 35
Уроки танго 37
Триптих 40
Танго. Если долго смотреть 40
Милонга. Музыка моря 41
Танго-вальс. Чёрная клавиша 42
При свете темноты 44

При свете темноты 44
Сказать себе 44
Нарциссовая зарисовка 45
Подарок на Рождество 47
Иностранный акцент 49
Пять чашек 49
Простыми словами 50
О ветре, о зимнем Париже и о чём-то ещё 54
Без названия 56
Размышления за чашечкой кофе 58
Конец ознакомительного фрагмента. 61

Leyla Imm
Спасибо за ветер

«Иногда я слушаю ветер, и мне кажется, что стоило родиться для того, чтобы слышать его, этот пролетающий ветер».

Фернандо Пессоа

(«Поразительная реальность вещей»)

Отзывы читателей

Живой, простой, очень изящный слог, почти стихотворения в прозе. Но это проза, о стихах не идёт и речи; а поэтической прозу Leyla Imm делает, кажется, какой-то тончайший налёт волшебства, присутствующий в каждой фразе. Можем ли мы дать определение аромату нарцисса? Описать мерцание лунной дорожки и рассказать, как она убегает от нас, ровно в тот момент, когда мы пытаемся к ней приблизиться?

Вот это волшебное нечто, ускользающее от понимания, — суть прозаических миниатюр, представленных на страницах книги «Спасибо за ветер».

Валерия Ревазова, г. Баку

***

Проза Лейлы Имм печальна, забавна, мудра; её проза заставляет размышлять, вспоминать своё, вызывает желание воскликнуть: «О, да! Да! Вот и у меня случилось похожее…»

А. Т., г. Москва

***

Leyla Imm говорит с нами спокойно и очень доверительно. Никогда не рассказывая о самом сокровенном, она всё-таки на каждой странице книги оставляет в дар нам, читателям, часть своей жизни и своей души. Она словно протягивает нам открытую ладонь, а на ладони её переливается… что же там переливается и словно манит подойти поближе? Так

давайте же подойдём, откроем книгу, углубимся в это ароматное, чистое пространство, почувствуем весенний ветер на лице и в сердце. Читайте, улыбайтесь, грустите и вспоминайте вместе с Leyla Imm. Ведь она — мастер воспоминаний, но воспоминаний особого рода. Читайте её прозаические зарисовки, похожие на поэзию, читайте, если вам нравится искренность, если вы любите тёплое слово, нежное слово, ласковое слово.

«Спасибо за ветер» стоит потраченного на чтение времени, поверьте мне.

Людмила Хан, г. Рыбинск

Часть I

Как зовут бабочку?

(Сказки для взрослых)

Как зовут бабочку?

Жил-был маленький лягушонок. Звали его А-Нук. Если бы лягушонок был девочкой, его бы звали А-Нука. Но лягушонок был мальчиком и поэтому его звали А-Нук. Весьма красивое имя.

Однажды лягушонок А-Нук пошёл погулять. И повстречался по дороге с бабочкой, крылышки у бабочки были в прелестную крапинку, и сама бабочка была солнечная и волшебная. Для того чтобы познакомиться с лягушонком, бабочка села ему на нос, и таким образом не заметить её лягушонок не мог. Дело было вовсе не в красоте наряда бабочки. Не в нежности её крылышек, не в трепетности натуры. Лягушонок А-Нук был очень невнимательным к деталям лягушонком, а крапинка — это всё-таки деталь. Да и трепетность натуры тоже. Некоторое время лягушонок А-Нук прогуливался с бабочкой на носу и не произносил ни слова. Ему нравилась эта светлокрылая компания, и он боялся открыть

рот, а рот в большинстве случаев надо открывать, хотя бы для того, чтобы что-то сказать или чтобы представиться; лягушонок опасался того, что, как только он откроет рот, что-то неуловимое, что возникло между ним и бабочкой, может быть непоправимо разрушено. Лягушонок не решался спугнуть это чувство. Потому что бабочка, которая ничегошеньки не весила, больше казалась чувством, чем неким существом.

— А-Нук, — сказал лягушонок, устав прогуливаться молча.

Бабочка немедленно покинула нос лягушонка и отлетела на некоторое расстояние, по счастью, на очень короткое расстояние, по-видимому, бабочке тоже не хотелось разрушать чувство; чувство, которое заговорило. Бабочка села на ближайшую травинку, травинка была высокой, гибкой и красиво качалась на ветру.

— А-Нук, — повторил лягушонок, остановившись и наблюдая за гибким качанием травинки.

Воздух был свежим, аромат трав кружил голову. Лягушонку хотелось есть.

— Пойдём? — спросил лягушонок бабочку.

— Полетаем? — спросила бабочка лягушонка.

Бабочка, по-видимому, спрашивала молча, потому что на самом деле лягушонок ничего не услышал. Он смотрел и смотрел на нежную крапинку, и ему казалось, что он слышит.

— А-Нук, — повторил лягушонок просто, чтобы удостовериться, что бабочка запомнила его имя.

Ветер качнул травинку посильнее, и солнце на миг брызнуло лягушонку в глаза. А когда он снова посмотрел на травинку, бабочки на ней уже не было. Исчезла нежная крапинка, и некому было сказать, что его зовут А-Нук. И тут неожиданно послышалось, такое нежное, такое тихое:

— Полетаем?

Лягушонок не был уверен, совсем не был уверен, что это голос бабочки. Это мог быть голос ветра, продолжавшего раскачивать травинку. Это мог быть голос облака, плывущего высоко над головой. Или голос далёкой птицы. Лягушонок сомневался дооолго-долго: целую секунду. А потом всётаки поверил. Он бы, может, и не поверил, но где-то там, глубоко в сердце, он явственно ощущал шевеление солнечных крылышек. Внутренним взглядом он видел, как они просвечивают на солнце, и мелкую коричневатую крапинку на крылышках он тоже видел. От нестерпимой нежности у лягушонка защипало в носу.

— Ты лети, — ответил лягушонок. И добавил: — Я догоню.

Притча о Танцующей Рыбке

Наташе Р. — в память о свете,

с надеждой на свет.

В пруду жили рыбки. В обычном, в общем-то, пруду жили самые обычные рыбки. Но жили они, как это водится у рыбок, по-разному. Какие-то рыбки ни о чём особо не задумывались и простодушно радовались жизни; какие-то плавали целыми днями туда-обратно, не выходя при этом из задумчивости и некой суровой меланхолии. И тех и других легко было понять: первые смотрели на хорошее и видели только хорошее, вторые смотрели на плохое и видели, соответственно, только его. Были ещё, правда, третьи, которые смотрели на хорошее и видели плохое, но речь сейчас не о них. Так вот и текла потихоньку жизнь в пруду, рыбки умирали, рождались снова… пока однажды не родилась Рыбка, которая видела то, чего никто, кроме неё, не видел. Она видела невидимое и своими словами пыталась об этом рассказать. «Есть такие светящиеся нити…» — говорила Рыбка папе и маме, которые слушали не перебивая. «Они соединяют между собой всё хорошее и всё плохое. То есть ВСЁ-ВСЁ хорошее и ВСЁ-ВСЁ плохое они соединяют между собой так, что уже совсем нельзя понять, где и когда заканчивается плохое, где и когда начинается хорошее». Рыбкины папа и мама хранили глубокое молчание, и тут бы самое время пасть Рыбке духом. Но она упрямо продолжала: «Они переливаются тысячами цветов, эти нити; их не распутать, даже если сильно захотеть. И они спускаются откуда-то оттуда, сверху», — здесь

Рыбка поднимала голову, пытаясь своим примером убедить родителей сделать то же самое. Там, куда смотрела Рыбка, было очень светло, и что-то нежное то ли переливалось, то ли мерцало.

Родители, честно говоря, немножко Рыбку стеснялись. Странная она родилась, думали они. Ну ладно бы молчала. Но почему она постоянно говорит о вещах, которых нет, да ещё такими странными словами? И вверх всё смотрит, и нити какие-то… све-тя-щи-е-ся. А Рыбка росла и постепенно, не сразу, конечно, но постепенно научилась верить. Вы наверняка сейчас подумали, что она научилась верить себе. Но нет, себе она как раз верить перестала. Ведь годами плывущие сквозь нити и мимо нитей рыбки, живущие в пруду, никогда не замечали света, исходящего от дивных живых узоров. Они постоянно проплывали туда и обратно, все-все, и радостные, и меланхоличные, плыли ежедневно, ежеминутно так спокойно и безразлично, словно нитей и в самом деле не было и нет! А нити дрожали от их прикосновений, и раньше Рыбка прекрасно бы это видела. Но не сейчас, потому что вся эта фантастически-прекрасная жизнь существовала, как видно, только в её, рыбкином, воображении. Что-то со мной не так, однажды решила Рыбка. И с того дня нити стали бледнеть, бледнеть и тускнеть, пока в один из трёхсот шестидесяти пяти дней какого-то года Рыбка просто-напросто не перестала их замечать. Теперь она только иногда по привычке поднимала голову вверх. Потом Рыбка опуска-

ла голову и послушно плыла между теми, кто видел только хорошее, и теми, кто видел только плохое. И рядом с теми, кто смотрел на хорошее и видел плохое, Рыбка тоже часто проплывала. Этих последних было гораздо, гораздо меньше, но они отчего-то занимали очень много места. Рыбка их сторонилась. Сторониться кого бы то ни было в пруду было довольно сложно. Поэтому Рыбка с некоторых пор старалась плавать повыше, там, где больше никто не плавал. Светящиеся нити перестали быть видимыми, но тот свет, который уже не видела Рыбка, продолжал прекрасно видеть её: маленькую, упрямую. Странную. Это он тянул её к себе, тянул туда, наверх, выше и ещё выше. И там, высоко, плавая в одиночестве, Рыбка училась, но не простодушной радости и не суровой меланхолии, а свободе и покою. А ещё она обнаружила, что наверху, почти на границе с воздухом, ласкающим поверхность привычного ей мира, звучала музыка. И под эту музыку можно было без конца, без конца, без конца кружиться… Да, она действительно была странной, эта Рыбка, танцующая под неслышимую музыку на границе двух миров. Но про музыку она никому ни разу не сказала ни слова.

И поэтому музыка продолжала звучать.

Незабудка

После долгих-предолгих стараний крошечный голубой цветок смог, наконец, проклюнуться из влажной земли.

Некоторое время он ничего не видел и не слышал, потому что неудачные — одна за другой — попытки практически оглушили его и оставили без сил. Когда внутренний шум наконец утих и разноцветные пятна перестали прыгать у него перед глазами, цветок расцепил голубые руки-лепестки и, потянувшись всем телом, словно приподнявшись сам над собой, с любопытством огляделся. Там, где он находился до этого, было абсолютно темно и почти абсолютно тихо. Здесь, наверху, куда он сейчас попал, куда он так стремился, сам не понимая почему, не умея объяснить себе, что это за неодолимая сила одновременно подталкивала его снизу и тянула его вверх; так вот здесь, наверху, всё оказалось совсем, совсем по-другому. Здесь были шум и яркий свет, такой яркий свет и такой громкий шум, что маленький голубой цветок от неожиданности прикрыл глаза и уши руками.

Выждав ровно столько, сколько было нужно, чтобы глаза привыкли к свету, а уши — к шуму, голубой цветок отнял руки от глаз и ушей; но одну руку — пятую — он так и оставил прижатой к сердцу. На какую-то долю секунды маленькому голубому цветку стало не по себе: он пытался дотянуться взглядом до конца растущей рядом травинки, а взгляд всё никак не дотягивался; тогда-то ему и стало страшно. Но потом он вдруг услышал голоса вокруг себя и подумал, что он не один, и всё не так страшно, как ему вначале казалось. Пусть голоса и были незнакомые, пусть некоторые из них были совсем не мелодичные, но язык, на котором все вокруг

говорили, был ему понятен.

Вскоре цветок окончательно успокоился, повеселел и стал прислушиваться к разговорам, что велись вокруг. Говорили много, все говорили одновременно, говорили о разном. Цветок слушал долго-долго, почти до самого вечера. Он слушал так долго, что ему начало казаться, что весь этот великолепный разноголосый поднебесный мир отзывается в нём — маленьком, молчаливом, хрупком — отзывается внутри него всеми своими тембрами, всеми обертонами. И в какой-то момент цветок, по-прежнему не проронивший ни звука, ощутил себя центральной точкой мира, поющим, ликующим сердцем всего. А потом вдруг рядом с цветком остановились двое. Цветок не дотягивался до них взглядом, дотягивался, конечно, насколько мог, но выше — никак; поэтому он не столько увидел этих двоих, сколько почувствовал их. Самым странным цветку показалось то, что их язык был ему непонятен, звучал незнакомой музыкой, музыкой томительной и сладкой, но какой-то… чужой. Да, цветок иногда догадывался, о чём они говорили, но очень смутно, не до конца проникая в смысл произносимых слов. Там, в этих словах, была любовь, цветок и это почувствовал. Но не та любовь, которая переполняла его крошечное голубое сердце; в музыкальной речи тех двоих пряталась другая любовь; совершенно, совершенно другая любовь, цветку неведомая. Потому и язык был цветку незнаком, потому так томил и казался сладким — даже на вкус. Цветок поднял головку повы-

ше, застенчиво улыбаясь двоим, что стояли рядом, страстно желая то ли стать частью их мира, то ли чтобы они стали частью его. Травяной, стрекозий, птичий мир был миром понятным для голубого цветка; это был их общий мир — солнечный, шумный, весёлый — и у него был один понятный язык, один на всех. Мир тех двоих не был весёлым, не был шумным, не был… Ах!

Маленький голубой цветок сперва даже не понял, насколько легко и просто оборвалась его жизнь: за какую-то долю секунды время для него, для маленького голубого цветка, вдруг закончилось. Сейчас он мог хорошо разглядеть тех двоих: неожиданно он обнаружил себя высоко в воздухе — где-то на уровне их сердец, в зоне их пристального внимания. Несмотря на то, что те двое говорили между собой так быстро, словно кто-то подгонял их изнутри, именно сейчас цветок понимал всё, о чём они говорили, каждое произнесённое и, казалось ему, даже не произнесённое ими слово.

— Не забудь, — очень тихо попросил мужской голос.

— Не забудь, — эхом, ещё более тихим, тихим как вздох, отозвался женский.

В этот момент, несмотря на трагически сложившиеся обстоятельства, цветок почувствовал себя абсолютно, немыслимо счастливым. Ведь к тому беспричинному счастью, которое переполняло его почти с самого первого момента появления на земле, прибавилась одна полновесная причина быть счастливым: у него, у маленького, хрупкого молчаливо-

го цветка, появилось имя. «Не забудь», — сказал один из тех двоих и посмотрел на него. «Не забудь», — сказала вторая из тех двоих и тоже посмотрела на него. И так они некоторое время просто стояли и смотрели на него, на маленький голубой цветок. Когда у тебя есть имя, прекрасно понял цветок, уже совсем не важно — растёшь ты по-прежнему в земле или больше не растёшь в ней, потому что кто-то или что-то… ну, просто потому что так сложилось. Но имя! Имя, которое тебе дали двое любящих, — вот гарантия твоего бессмертия. И зачем тебе время, если отныне ты несёшь в себе их любовь, эту голубую-голубую вечность.

Небесные барабаны

Эльману, с любовью

Ёжик Мани очень любил африканские сказки. Сказки, легенды, мифы — всё, что удавалось найти в маленькой местной библиотеке и у соседей. В африканских сказках (легендах, мифах) ему нравилось всё; ВСЁ — за редким исключением. Чудовищ разных он не любил. Хотя кто из нас любит чудовищ и чудищ? Но всё остальное — маски, барабаны, пальмы, гнущиеся на ветру, песок, скрипящий на зубах, ночи, похожие на чёрный шёлк, звёзды, похожие на голубые алмазы… Ух. У Мани захватывало дух, когда он представлял себя внутри книги, в Африке, сидящим рядом с костром

и глядящим на пляшущие тени. С недавних пор Мани копил деньги на самоучитель языка йоруба, уж очень ему хотелось потом всех разом удивить. Чаще всего он представлял, как сильно удивится мама, так СИЛЬНО удивится, что перестанет нарезать яблоки для компота; или как, услышав беглую речь на йоруба, с восхищением посмотрит на него папа. Папино восхищение Мани тоже часто себе представлял, да.

Ёжик Мани в мечтах своих ушёл так далеко, что даже имя себе выбрал африканское. Новое имя, совсем другое, не то, которым при рождении нарекли его заботливые родители. Это новое, им самим себе выбранное имя звучало как имя африканского духа. Во всяком случае, Мани так слышалось, когда он его тихонечко, нараспев произносил. Не нараспев имя произнести было невозможно. Ещё Мани любил представлять, что он — сын Шанго. Шанго из сказок (мифов, легенд), которыми зачитывался Мани, был африканским божеством грома и танца, а ёжик Мани больше всего на свете любил танцевать. Гром и молнии он тоже любил, но наблюдал за ними по большей части из окошка своей комнаты. А всё потому, что его мама не знала, что он сын Шанго, не знала, что в дождь (и гром, и молнии) даже под открытым небом её сын — и сын Шанго — всегда будет находиться в полной безопасности. Иногда Мани хотел рассказать о боге танца и грома маме, но что-то останавливало его в самую последнюю минуту. Что-то не давало ему сказать. Мани не желал признаваться в этом самому себе, но в голове его

образовалась небольшая путаница из мам и пап. Наверняка нужна была ещё одна книга, главная, которая бы всё расставила по местам. Она бы объяснила, почему может быть один папа — вот этот, который разгадывает кроссворды и иногда взглядывает строго; и другой папа — тот, который танцует лучше всех на свете и любит устраивать небесный тарарам. Ничего, думал Мани, устраиваясь поудобней в постели, ничего. Вот когда я смогу говорить на йоруба, вот когда… После этого он обычно засыпал, так что даже любимой подушке Мани были неведомы его дальнейшие планы. Но пока главная книга всё никак не находилась, на полянке по соседству находились странные предметы. Мани подбирал их там, где находил, приносил домой и прятал в коробочку из-под пуговиц. Среди предметов, подобранных и тщательно припрятанных, была раковинка каури с отбитым дном; браслет из бусинок — коричневых и зелёных, которые перемежались между собой; и одно ярко-бирюзовое птичье перо. Это было странно. Словно кто-то пытался привлечь внимание ёжика, рассказать ему что-то, но рассказать что? Знаний, почерпнутых из сказок, хватило на то, чтобы понять: африканские духи услышали его, и, пока Мани не выучил йоруба, духи будут говорить с ним на языке бусинок и птичьих перьев; а возможно, даже танцевать с ним. Наверное, надо рассказать маме про Шанго, подумал Мани, засыпая в ту ночь. Всё-таки, он, Мани, и её сын тоже.

Очень короткая сказка

— Я скучаю по тому, кого любила, я всё ещё его люблю, пожалуйста, помоги мне спуститься.

— Сейчас не время и не место.

— Пожалуйста, я очень тебя прошу.

— Могу отправить со снегом. Готова стать снежинкой?

— Готова даже снежинкой. Пожалуйста, не шути, если можешь помочь, помоги.

— Тогда можешь спускаться прямо сейчас. Но это очень ненадолго, сама понимаешь. Бессмысленно и бесполезно. Одно расстройство.

— Так я спускаюсь?

И она спустилась. Она помнила адрес и помнила время, когда он возвращался домой. Она помнила, как танцевала с ним и как танцевала без него. Она танцевала, спускаясь. Она танцевала всё время, пока летела, то замедляя движение, то ускоряя. Она всё помнила верно и очень хорошо рассчитала время.

Он остановился недалеко от дома, поднял голову и посмотрел на небо. С неба летели белые пушистые хлопья. Он закрыл глаза и почувствовал, как на верхнюю губу опустилось невесомое, нежное. Отчего-то сжалось сердце. Сжалось и стало почти нестерпимо больно. Так бывало всегда, когда он вспоминал о ней. Кончиком языка он коснулся губы, кос-

нулся холодного, невесомого. Он не знал, почему вдруг стало легко на сердце и почему так тихо стало вокруг.

Он медлил. Идти домой расхотелось.

Спускаясь с неба, для кого-то танцевали... танцевали снежинки.

Два ангела

На Рождественской ёлке жили два стеклянных ангела — один с золотыми волосами, другой с серебряными. Они были очень-очень похожи между собой; так бывают похожи только братья-близнецы. У обоих были голубые как небо глаза, чёрные длиннющие ресницы, нежные щёки. Даже волосы были похожи, хотя у одного они были золотые, а у другого серебряные. На других ветках жили другие игрушки — слоники, белочки… Но ангелы! Ангелы жили на самой верхней ветке, рядом со звездой. Звезда была надета на верхушку ёлки, и от этого верхушка всегда немножко клонилась влево; и вот там, под клонящейся влево верхушкой со звездой, они и сидели — молча и неподвижно днём, оживлённо разговаривая друг с другом по ночам — два ангела, похожие на братьев-близнецов. И один не мог без другого, несмотря на то, что тот, у которого волосы были золотые, всегда был преисполнен радости. А тот, у которого волосы были серебряные, всегда говорил только о печали. Ведь он знал такую уйму печальных историй — что ему ещё оставалось делать? Наверняка ему

казалось, что его серебряное сердце разобьётся от боли, если этими историями не поделиться. Но золотоволосому ангелу настроение это никогда не портило. Он слушал своего соседа, больше похожего на брата-близнеца, и волосы его по-прежнему отливали золотом, и все печальные истории качались на волнах его радости, подобные крошечным лодочкам. Но вот ведь удивительное дело! Доплыв до ангела с золотыми волосами, все эти печальные истории-лодочки превращались в миражи, в радужные мыльные пузыри и исчезали, лопаясь одна за другой. И так продолжалось много-много-много лет, и все в том мире, где стояла ёлка, были очень счастливы. А если вокруг и лопались радужные пузыри, то их никто не замечал, такие они были тонкие, почти совсем невидимые. А потом ангел с золотыми волосами упал и разбился. И ангел с серебряными волосами остался один, совсем один. Белочки и слоники продолжали жить на той же ёлке, но они были не в счёт. Золотоволосого ангела — соседа по ветке, больше похожего на брата-близнеца, — больше не было рядом, и поэтому одиночество оказалось полным. И что ему теперь было делать с печальными историями, которые буквально роились внутри его сердца? Ведь они упирались и толкались изнутри острыми носами и требовали, требовали без конца немедленного выхода на волю. Ангел с серебряными волосами долго молчал: изо всех сил он пытался терпеть эту боль. Но однажды ночью его сердце, не выдержав, треснуло, и все невидимые остроносые лодочки ринулись с

верхней ветки вниз, почувствовав вкус свободы.

С тех пор, с того самого дня, вернее, с той самой ночи, сердце ангела больше не болит; оно стало бесконечно, беспредельно, абсолютно пустым и прозрачным. А в пустоте и в прозрачности, как известно, историй нет.

Но вот ведь какое дело: все те печальные истории — все до одной — стали нами.

Времена года

Зима. Декабрь

У нас зима за окнами выглядит точно так же, как и лето: сплошь зелёные ряды апельсиновых деревьев. А ещё хурмовые деревья, но они сейчас без листьев. Взгляд каждый раз прерывается, обиженный, когда замечает брешь в ровной густой зелени. Но это только если смотреть из окна, издали. А если перейти дорогу и идти вдоль, то видишь уже не зелень, а шары, то густо, то редко развешанные, оранжевые шары размером с новогодние, шары двух разных оттенков оранжевого. Привычный глазу — светлый и яркий — апельсинов и тёмный, сочный, какой-то необыкновенный цвет хурмы. И не было такого, чтобы, проходя мимо, ты не попытался разложить этот цвет на составляющие. Оранжевый и тёмно-розовый, разумеется. Оранжевого больше, розового меньше. Но вот этот огонь, так явно горящий внутри, дающий плоду тёмный румянец — какого он цвета? И кажется тебе, что если дать цвету название, найти имя, необъяснимое объяснится. Тайна исчезнет и перестанет томить. Только проблема в том, что, по-видимому, нет в земном языке названия этому цвету, нет имени. И, сдавшись перед тайной, ты опять проходишь мимо. А цвет всё продолжается в тебе, разукраши-

вает твои пустоты; цвет, ни разу тобой не угаданный. А ведь раньше, совсем недавно, хурмовых деревьев перед домом не было, росли только апельсиновые. А потом часть апельсиновых рощиц вырубили и засадили хурмовыми. В целом пейзаж они не очень меняют. Особенно если смотреть на рощицы из окна. Вот только пахнет в апреле теперь не так ошеломительно, как пахло раньше. Что ни говори, зелёные апельсиновые ряды понесли значительные потери. Потому-то и запах счастья, разлитый в воздухе, уже не такой концентрированный, как был когда-то. Но до апреля пока далеко, и плоды хурмы на голых ветках погорят ещё немножко. Тайна есть тайна, декабрь есть декабрь.

И что бы там ни было, у твоей зимы есть этот цвет.

Весна. Март

Моя старшая дочка родилась в марте. Помню, как уже перед самой выпиской я шла по длинному коридору, а в коридоре, по случаю солнца, хорошей погоды, все окна были распахнуты настежь. И небо там, за окнами, было совсем синее, такое по-весеннему яркое, высокое, с белыми длинными облаками. И вовсю уже пахло весной за окнами, пахло весной из этих окон, талым снегом, чем-то сладким, томительным новым счастьем пахло и неведомой какой-то жизнью, тоже новой, счастливой, которая обязательно должна состояться. Всё должно было сбыться, что обещалось. Не в январе, а в

марте начиналась новая жизнь. Ах, какие ручьи текли той весной, не ручьи, а целые реки. Но это уже в апреле, и пахло тогда, я помню очень хорошо, пахло чисто и сильно — водой. И мы выходили погулять и не знали, куда шагнуть, потому что вода была повсюду, справа, слева, впереди и сзади.

Я писала стихи, мне нравился нежно-розовый цвет, нравилось душиться духами с восточным ароматом, покупать серебряные кольца с перламутром. И вообще всё было по-весеннему, по-молодому хорошо. И родители были живы, и было им тогда меньше лет, чем мне сейчас. И пахло так сладко из окон и за окнами каждой, абсолютно каждой весной.

Лето. Август

Да, август. Такая жара, не жара, жарища. Солнце висит горящим апельсином в небе, на небе ни облачка. Ласточки высоко над головами, летают себе в вышине, и понятно, что дождя в их планах нет и даже не предвидится. Бабочки совсем исчезли, хотя до этого летали поодиночке и парами вдоль дороги, их было не так чтобы много, но ведь были. А сейчас идёшь по той же дороге, а бабочек — ни одной. Испарились, что ли? Под этим солнцем что угодно может испариться, я бы не удивилась. Ох, эти прогулки под выбеленной голубизной неба, прогулки без тени и даже без надежды на неё. Только поздно вечером начинаешь дышать и наслаждаться. Вечером даже луна кажется прохладной, как дыня из холодильника.

А днём ничего, кроме солнца. Дорога и солнце, солнце всю дорогу. Сегодня посреди дороги сидел богомол, похожий на сломанную в нескольких местах и брошенную травинку, такой сухой, тонкий… страшный. Я остановилась и смотрела на него некоторое время. Он не двигался, наверняка решил до конца притворяться травинкой. Я тоже притворилась, что поверила, тем более что смотреть на него долго не очень-то и хотелось. Петуха, живущего где-то неподалёку, не видно, но очень часто слышно. Кстати, по ночам он тоже кричит своё жизнеутверждающее «кукареку». На испанском это звучит как «кикирики». Но не в этом суть, а в том, что петухи по ночам, оказывается, не спят. А если всё продолжать идти по нашей дороге, то чуть дальше обычно стоит лошадка; вот и сегодня она стояла, тёмная, как самый тёмный шоколад. Когда мы останавливаемся посмотреть на неё издали и покричать ей: «Привет, лошадка!», она в ответ качает приветственно головой. Не от мошкары отмахивается надоедливой — для этого у неё другие приёмы имеются, — а именно здоровается. Ну вот скажите, пожалуйста, кто её этому научил? Ведь ясно, что никто, а лошадка здоровается. Взглядом отыскиваю её глаза и встречаю внимательный, долгий чёрный взгляд.

Апельсиновые рощи стоят зелёные, но без цветов и плодов они не очень привлекательны. Вот олеандры, олеандры с той, другой стороны дороги! Их много, как же их много! Такая длинная-предлинная тёмно-розовая волна, бегущая всё

под тем же с-ума-сводящим солнцем. Но, видно, олеандры и под таким солнцем чувствуют себя прекрасно, они свежи и радостны. Как же я их люблю, как люблю их ярко-розовый свет. И пурпур ночной красавицы тоже люблю, да-да, той самой, что распускается в сумерках. Не доверяет красавица свою красоту солнцу, бережёт её. Вот если бы я была ночной красавицей и росла в тени большого дерева, как те, что растут напротив наших окон, я бы тоже не высовывала носа до вечера. А вечером можно было бы и показаться. То есть и себя, красавицу, показать, и на людей, гуляющих вокруг, посмотреть, тем более что луна в августе… Да. Луна в августе просто… ах, какая.

Осень. Ноябрьский дождь

Это была наша первая осень в этом городе. Город был красивым, осень была холодной. Дом, в котором мы жили, был новым и таким же холодным, как осень. Даже холоднее, чем осень. В осени есть свет. В осени есть тепло. В нашем доме вместе с нами жила зима. В нём не было ни тепла, ни света. Вообще-то в нём почти ничего не было, кроме нас самих, поселившихся в нём. Был стол и стулья вокруг него. Была ещё какая-то мебель… был комод, да. И на комоде — две фарфоровые фигурки спящих китайцев. Фигурки были серые, тёмно-серые: китайцы — один стоял, другой сидел рядом — никогда не просыпались. Я просыпалась по утрам и

ужасно им завидовала. Мне хотелось превратиться в такую же фигурку, только чтобы спать. Мне хотелось спрятаться от этого ужасного, ужасного холода, спрятаться, уйти туда, в их покой, в их сонный тёплый мир. Тот мир, за их веками, тот, который им снился, был тёплым, я была в этом уверена. Они спали и не хотели просыпаться…

По вечерам иногда приходили знакомые, и тогда все садились вокруг стола; садились одетые, кто в чём пришёл, тот в том и садился. Пили кофе и играли в parchis. Света в доме не было. И всё-таки свет был. Это был не свет свечей, которые мы зажигали. Нет, от свечей свет был колеблющийся, неровный. Тот свет падал в дом от фонаря, стоявшего прямо перед окнами. Окна были высокими, во всю стену; никаких занавесок на них тогда не было. И тот фонарь всю ночь заливал комнату ровным мягким жёлтым светом. За этот свет я и полюбила фонарь. Бывают такие друзья, которые помогают вам и никогда не спрашивают, нужно ли вам посветить. Они просто встают рядом с вами и светят. И заливают ваш дом, вашу жизнь мягким, ровным светом. Светят вам до тех пор, пока не настанет утро. Пока вам и так, без их помощи не станет светло.

Когда шёл дождь, я шла к нему. Я придвигала стул к самому окну и садилась так, чтобы лучше видеть. В доме не было книг, не было телевизора. Но перед домом стоял фонарь. И там, где он светил, всю ночь шёл дождь. Большей красоты невозможно было просить у той осени. Это были красивей-

шие дожди в моей жизни. Я смотрела, смотрела не отрываясь, смотрела так же бесконечно, как он шёл, как они шли, эти дожди. И не могла насмотреться. Ведь что такое дождь в ноябрьской ночи? Печальная вода. Но что свет делает с печалью?

Каждую ночь я совершала открытие, одно и то же открытие каждую ночь: придвигая стул к окну, я видела, что дождь — это не вода, вернее, не просто вода, которая то обрушивалась сплошной стеной, то косыми прядями падала с неба. Теперь я видела иное движение, вернее, я видела иное в её движении. Печаль, застигнутая в полёте светом, и сама бы теперь не вспомнила, что она — печаль. Печаль в одеждах из света — суть красота. «Мир в темноте подобен загадке, — сказал мне как-то мой друг. — Но посмотри на тот же мир, когда свет знания освещает его!» Или всего лишь свет фонаря, когда идёт дождь, когда ты один, когда впереди у тебя целая ночь и ты можешь долго, долго и очень внимательно смотреть на печальную воду, льющуюся с неба.

Цапелька летит, цапелька улетает

Даже если закрываешь глаза, сквозь сомкнутые веки всё равно проникает солнечный свет; внутренним зрением не видится, но угадывается движение — чайки и вОлны, облака, собака с мячиком совсем рядом, её рыжеволосая хозяйка чуть поодаль; ещё какие-то птицы в вышине, кажется, стая

цапель; отсюда, если приоткрыть глаза, птицы видятся чёрными, хотя, скорее всего, они белые, ведь белых цапель намного больше.

Мне всегда казалось, что цапли с чёрным оперением элегантнее, чем белые; есть в них некая нездешность и некоторая, я бы сказала, мрачная изысканность. Чёрные цапли словно живое воплощение ночи; ночи глубокой, безлунной. Да что там безлунной? Ночи чёрной-пречёрной — смоляной.

Чёрное на чёрном, ночь, помноженная на ночь, вышивка чёрной гладью по чёрному шёлку — вот верх изысканности.

Вообще, лично меня завораживает сочетание розового с чёрным. Любовь явно возникла ещё в детстве после прочтения книги «Чёрный жемчуг». Речь в книге шла об украденном ожерелье: десять ниток розового жемчуга, а на золотой застёжке — одиночная чёрная жемчужина. Я представляла себе эти десять нитей, нежнейший блеск и розовую прохладу жемчужин — каждой из них. Представляла, как они лежат на моей ладони, не помещаясь, стекая по бокам. На чёрную жемчужину, пусть и воображаемую, я боялась долго смотреть, настолько она меня пугала, хотя и манила тоже, с такой же в точности силой. Было странно и одновременно прекрасно чувствовать это.

Тогда же в детстве из другой книги, никак не связанной с предыдущей, я узнала то, что наверняка знают все ценители жемчуга, узнали когда-то из опыта, безо всяких книг. Выби-

рать жемчуг нужно на рассвете, стоя у окна, и чтобы окно это обязательно выходило на север. Думаю, правда, что речь идёт исключительно о белом жемчуге. Чёрный жемчуг, как мне представляется, нужно выбирать при свете свечей.

*

Один раз мы с собакой, точнее сказать, с собачкой, шли по полю — это не совсем поле, но так его все называют. На этом поле и простор, и какие-то спутанные заросли, и рощицы хурмы и апельсиновых деревьев, и высокая трава, и низкая трава, и открытые участки, покрытые песком, и открытые участки, засаженные чем-то полезным, и даже — поверите ли? — плантация низкорослых пальм. Так вот, в тот день мы с собачкой шли, долго шли, и вокруг никого не было, совсем никого не было, и вдруг слева от нас, до этого не замеченная, нами не видимая и даже не предчувствуемая, — целая стая чёрных цапель! Взлетела в один миг, сорвалась с места, взмыла в воздух. Не знаю, как описать словами эту мгновенно взмывшую вверх чёрную вуаль. Их было очень много. Если честно, в тот момент мне показалось, что их была просто тьма. Они пролетели слева направо невысоко, почти над самой головой; я не поняла тогда и сейчас не понимаю, что их спугнуло, что заставило всех разом подняться в воздух. Мы? Но мы с собачкой шли тихо, а за высокой травой нас и видно-то не было.

А знаете, когда цапельки, белые и чёрные, стоят в поле, то они именно так и стоят — белые и чёрные, никогда не сме-

шиваясь. Вон там белые, а чуточку поодаль — чёрные, словно эти — цапельки Монтекки, а те — цапельки Капулетти. Хотя нет, они же вполне мирно стоят, так что не Монтекки и не Капулетти, и даже не Инь и Ян, потому что здесь — только белые, а там — только чёрные, без примесей и перетекания из чёрного в белое и наоборот.

Кто-то однажды рассказал мне о прекраснейшей Бенну, но Бенну, древнеегипетская цапля с длинным клювом, скорее всего, не чёрная, а серая или, может, синяя, и если она синяя, то это, на мой взгляд, лучший из вариантов. А ещё я помню — и как-то странно-всегда помню, — что в одном из залов Эрмитажа хранится перстень-инталия работы мастера Дексамена Хиосского. На полупрозрачном, цвета осеннего неба камне — вытянувшаяся в полёте цапля. Цапелька, летящая, уже почти улетевшая с перстня. И если бы я была музейным вором, я бы… Но из всего музея, из всех сокровищ — честное слово! — я взяла бы только этот небольшой перстень из халцедона; я уносила бы с собой не перстень, как вы понимаете, а цапельку, выгравированную на нём, цапельку, которую я не могу, не имею права оставить без неба…

Принесла бы домой, встала на рассвете у окна, у любого окна, выходящего на север, на восток, на запад или на юг, и смотрела, смотрела бы на неё, вечно улетающую и чудесным образом остающуюся на месте… пока бы нас с ней не нашли.

Я уже довольно долго стою вот так, с закрытыми глазами. Пора, наверное, уходить с пляжа. Во-первых, я устала сто-

ять; во-вторых, солнце наверняка успело набросать мне на лицо янтарных пятнышек и веснушек, как-то слишком быстро оно поднялось и принялось припекать — совсем по-летнему.

Я открываю глаза и смотрю на небо. В голове у меня и в небе надо мной — совершенная пустота. Ни облаков, ни птиц, ни мыслей.

У неба над головой цвет бледно, почти блекло-голубой. У неба внутри меня — голубовато-серый цвет халцедона. Осень смогла подобраться совсем незаметно, да. Но ещё незаметней в какой-то из дней сюда придёт зима.

Ну что же. Значит, придёт зима.

Парадокс танго

Парадокс танго

Желание танцевать танго до последнего дня жизни… Странным, а возможно, и смешным оно покажется кому-то. Но значить это будет лишь одно: этот кто-то никогда, ни разу в своей жизни аргентинское танго не танцевал. Не танцевал — не улетал — не возвращался — не тонул — не выплывал — не умирал и (вновь и вновь, с новой силой, с бОльшим восторгом) не оживал. Кто танцевал, тот не удивится. Потому что знает. Знает, что нет ничего слаще, губительней и спасительней, чем объятие в танго. Знает, что для тех, кто вошёл в круг, очерченный этим объятием, не существует уже другого мира, нет иной религии, не остаётся времени на изучение других законов и звёзд. Все они — Великие Влюблённые, ученики или мастера, не суть важно, но следующие — друг за другом и все вместе — одним путём. Путём, не преследующим никакой цели, кроме неодолимого стремления ввысь. Путём, не имеющим никакой вершины, кроме любви. Иногда двое, дошедшие до вершины, идут ещё дальше, ещё выше. И превращаются в звёзды. Двое, мужчина и женщина, две звезды, не разомкнувшие объятий, продолжают свой танец на небосводе. Ведь у танго есть свой небосвод. И теперь

они — две новые яркие точки в огромном многоцветье, в бесконечном кружении звёзд.

Не всем дано превратиться в звёзды, но путь до своей вершины может пройти каждый. Путь любви… В самом скором времени, после первых же неумелых шагов, он потребует равновесия и напряжения всех душевных и физических сил. И для идущего по нему станет путём тяжелейшего труда, невероятных открытий, пьянящего восторга и благодарного вдохновения. Правда и здесь — так всегда, так во всём! — есть одно «но». Путь этот нельзя пройти в одиночку, как нельзя обнять самого себя. Для танго и для любви всегда нужны двое. Вот именно здесь, отсюда, с танцующих двоих, начинается самое удивительное в танго. И начинается оно в тот момент, когда женщина понимает, что, обнимая партнёра, она обнимает не только мужчину. В тот момент, когда мужчина, обнимая партнёршу, почувствует, что держит в объятиях не только женщину. Женщина, танцующая танго, в лице мужчины обнимает и любит мир. Мужчина, танцующий танго, обнимая женщину, обнимает и любит музыку, любовь, жизнь… да, любит мир! Это одно из тех открытий, о которых не говорят. И которое совершают один за другим все ступившие на путь. И это есть парадокс танго. Если вначале мы говорили о том, что для вошедших в круг, очерченный объятием танго, не существует больше мира за его пределами, теперь мы утверждаем, что, танцуя танго, мы танцуем с этим миром. Все сакадас, волкадас, ганчос и моли-

нетес мы проделываем, не выпуская мир из своих объятий, любя его, восхищаясь, доверяя и благодаря. Потому и танцуют танго мужчина с мужчиной, женщина с женщиной. Это противоречит философии танго и в то же самое время абсолютно не противоречит, лишь подтверждает её. Ибо любовь едина и безгранична. А танцуя танго, мы танцуем любовь. Но любовью нельзя разделить. И нельзя ограничить. Любовью можно только расширять до бесконечности, заключая в объятие всех, с кем танцуешь, всех, кто танцует рядом, всех, кто никогда не танцевал и всех тех, кто когда-нибудь будет или никогда не будет танцевать на этой земле.

Уроки танго

Guillermo Álvarez

Объятие, говорит он, нельзя разрывать. Что бы ты ни делала, не увеличивай дистанцию между нами. Если чувствуешь, что теряешь равновесие, держись за меня. «Для этого я здесь!..» — он говорит это, смеясь, и я понимаю, что мне необходимо учиться лучше держать равновесие, и тоже смеюсь.

Он учит меня дышать. Он говорит мне «Дыши!», и только тогда я замечаю, что перестала дышать. «Ровно, спокойно, глубоко дыши!»

Я и сама не знаю, когда и почему перестаю дышать. Может

быть, когда боюсь совершить ошибку? «Не бойся ошибаться!» — это тоже один из его уроков. «И если ошибаешься, ошибайся с полным знанием дела, думая, что всё делаешь правильно!»

И я знаю теперь, что надо продолжать, даже если я ошиблась; продолжать двигаться дальше, забыв об ошибке или просто не придав ей значения. «Не останавливайся! Продолжай, продолжай!» — говорит он. И я учусь продолжать, не останавливаясь…

«Двигайся легко, будь как пёрышко! Все твои движения должны быть естественными. Ничего надуманного!» — вот то, чего он добивается от меня. Он требует самого простого и в то же время самого трудного: он требует от меня естественности. И, стараясь ей научиться, я понимаю, что экспрессия — это одно, а театральность — совсем другое. И что надо жить, а не играть, даже если ты на сцене.

«Расслабься, полностью расслабься», — он не устаёт мне это повторять с самого первого нашего урока. «Расслабь мышцы спины, я чувствую твоё напряжение и оно передаётся мне». Абсолютное спокойствие и умение перейти от одного состояния к другому, не теряя этого спокойствия, — вот то, чему он учит меня. Я уже понимаю, я поняла, как это важно, как это красиво — в самом сложном, в самом головокружительном движении, почти полёте, сохранять внутренний покой.

«Иди ко мне», — говорит он. На самом деле эти слова не

нужно произносить, это невербальное приглашение партнёра, на которое партнёрша отвечает телом, отвечает, проявляя полное доверие. В этом движении задействованы мышцы бёдер и живота. «Расслабь мышцы! Ещё, ещё!.. Вот сейчас ты расслаблена. И сейчас, когда ты расслаблена, я не ощущаю веса твоего тела».

«Ты должна идти за мной не раздумывая, идти туда, куда я тебя зову — с удовольствием, не сомневаясь. Ты не можешь сказать мне…» — он задумывается на секунду, — «не можешь сказать мне: я пойду за тобой, если только сама захочу. Раз я позвал, ты уже должна быть там вместе со мной».

Мои уроки танго стали для меня и уроками жизни, когда в мою жизнь вошёл Учитель. Учитель, который говорит мне очень важные вещи. Который говорит мне, например: «Делай только то, что ты делаешь». И его слова продолжают звучать у меня в ушах и когда я выхожу из танцевальной академии. Потому что это так просто, так правильно и одновременно так сложно — делать только то, что предлагает тебе твой партнёр по танцам — или жизнь — в каждый следующий момент. Жизнь — великолепный, безупречный партнёр! Жизнь умеет тебя вести как никто, надо только научиться откликаться на каждое её движение и не задумываться о том, что тебя ждёт дальше. Потому что, танцуя с гениальным партнёром, предугадать даже следующий шаг и подстроиться под него — невозможно. И кажется мне, что мудрость всех философий, включая философию танго,

как раз и заключается в том, чтобы уметь доверять. Доверять партнёру и доверять жизни.

А доверие — это так сложно. И так просто. И всё-таки, наверное, очень правильно.

Триптих

Танго. Если долго смотреть

Мужчина и Женщина. Мужчина мужествен, женщина женственна. Вот и вся формула. Без кокетства, без флирта, соитие двух душ — прямое попадание в цель, мгновенное нахождение и вхождение в магический центр друг друга. Мужчина ведёт, женщина подчиняется. Но женщина — фантазия мужчины, мечта, его страсть. Кто кого ведёт, кто кому подчиняется? Страсть ведёт обоих, диктует, говорит прямо в сердце, сердце вспыхивает жарко, цветок бессмертия расцветает в нём; сердце — когда танцует, пока танцует — знает о собственном бессмертии, помнит о нём. Формула проста и всегда была известна, её забывают, все всегда забывают её, а потом не могут вспомнить… но двое, танцующие танго, вспоминают эту формулу мгновенно, вспоминают так же легко, как вспоминает сердце о собственном бессмертии.

Всё есть тайна.

Нет, не так: есть двое бессмертных, а тайна — это то, что

между ними; тайна не хочет быть выданной, и двое танцуют, не поднимая глаз. Поднять глаза — выдать тайну, обжечь ею. А если долго смотреть — можно сжечь дотла. Этим двоим открыто нечто важное, ценное, пожалуй, высшее. Им открыто, что смерти нет и что смерть — это тайная жизнь, и что жизнь — это тайная смерть. Тайна течёт по их венам, тайна окрашивает их щёки нежным румянцем, тайна заставляет трепетать их ресницы, тайна течёт изнутри кнаружи, никогда — наоборот. Они, эти двое, — служители своей тайны и её хранители; они танцуют её сейчас, они танцуют её всегда, даже когда не танцуют, потому что они сами становятся ею, своей тайной.

И эта тайна продолжает танцевать в них.

Милонга. Музыка моря

Золотой ветер, розовые олеандры, такие густо-розовые, что ветер окрашен их цветом, будто кто-то подмешал красное вино к солнечному свету. Бокал вина, растворённый в воздухе, пьянит, но несильно, ровно настолько, насколько нужно, чтобы мир вокруг тебя окрасился в розовый, так, слегка, ровно настолько, насколько нужно для счастья. Море вдалеке, ты его не видишь пока, не можешь видеть, но ты идёшь по этой дороге и знаешь, что она приведёт тебя к морю; в конце концов все дороги ведут к морю, и твоя тоже. Всё это кружение, все эти повороты нужны, чтобы спустить-

ся к нему, войти, раствориться в нём, стать его солью, стать его пеной, стать его цветом. Но пока море далеко, ты только ощущаешь его присутствие, знаешь, что оно там, где-то там, в самом конце пути. Ты долго-долго идёшь по ней, по той — любой — дороге, которая ведёт тебя к морю, по дороге, залитой розовым и золотым. Ты идёшь, постепенно спускаясь к нему, ты так счастлив сейчас, так счастлив на этой дороге, один, без единой мысли в голове, в компании с собственным сердцем, полным поющим светом и ветром, и нет никого вокруг. Ты пьёшь этот воздух, радость, растворённую в нём, и постепенно, с каждым шагом, ты полнишься ею, этой солоноватой радостью; море поёт внутри тебя, пот стекает струйками по спине, блестит мелкими бисеринками на лбу… Ах, какое солнце, какое горячее солнце, но ветер, ветер… Ветер спасает от зноя, одежда развевается, ноги переступают плавно и привычно. Ветер здесь, на этом повороте, всегда очень сильный; ветер, ветер, напоённый морем, его солью, его силой, его шумом. Волны ветра, музыка ветра, волны моря, музыка моря. И шумит, шумит в голове или рядом, или даже вдалеке, но оно там, ты знаешь, что оно там, блестит серебряно, смеётся тебе навстречу, зовёт и ты идёшь…

Танго-вальс. Чёрная клавиша

Клавиша белая, клавиша чёрная, белая; белая, чёрная, белая; белая, чёрная… вихрь грусти, вихрь в сердце, тан-

го-вальс. Как бесконечна боль человеческого сердца, так бесконечна глубина танго. Как бесконечна радость человеческого сердца, так бесконечно легка поступь милонги. Но танго-вальс — это нечто совсем иное. Танго-вальс — то ли другой свет, то ли другая планета: твой входной билет в зазеркалье. Танго-вальс — три луча, скрестившиеся в точке сердца, и все бабочки мира со сверкающими крыльями, ожившие в нём. Танго-вальс — миллионы голубых и серых цапелек, одновременно взмывших в небеса: голубой волшебный час, три минуты магии.

Танго-вальс — молчаливый уговор двоих: «Побудем с тобой счастливыми!»

Мы, несомненно, будем счастливыми — безусловно счастливыми — пока зеркала отражают наш свет, пока длится наша голубая вечность. Зеркала отражают счастье и умножают его; и длится, длится наша большая секунда — объятие, эта музыка двоих. Белая клавиша, чёрная, белая… белая клавиша, чёрная, белая… И белые клавиши — объятие, мы; и чёрная — вальс — между нами.

Танго-вальс — еле слышимый аромат духов, удары сердца, то ли твоего — о чужое, то ли чужого — о твоё. Танго-вальс — пятое время года, время странствия и спасения; благоуханный, благословенный остров ночи в океане дня.

И клавиши, клавиши — белая, чёрная, белая… белая, чёрная, белая — уносят с собой любого, любого, кто скажет им: «Да!»

При свете темноты

(Когда в Баку)

При свете темноты

Ночь, сильный ветер и близость моря — вот что чаще всего мне бывает необходимо.

И срочнее всего из этого, незамедлительней всего из этого, утешительней всего — сильный ветер. В Баку в августе ветры всегда были сильными, всегда были как раз такими, какие мне нужны, какие нужны моей душе. Чтобы продувать её насквозь, чтобы выдувать из груди эту печаль, эту скопившуюся пыль, как что-то ненужное и чужое.

Август, конец августа, прекрасные ночи, когда у тебя в комнате открыто окно — туда, в мир знакомых созвездий, в знакомый ветер! Когда каждую ночь, каждую неповторимую ночь ты — единственный неспящий в зачарованном царстве сонного дома. Когда всевластна над тобой и твоей душой, и над всем твоим миром магия слов и звуков. Когда при свете темноты ты сам — и ветер, и море, и тайные шорохи этой августовской ночи…

Сказать себе

Я дома, и весы моей души пришли в равновесие. Я больше ничего не хочу, просто потому, что всё, что я могла бы хотеть, у меня уже есть — стены, настольная лампа на столе, скатерть, которой покрыт стол… Книга, которую я читаю. На её страницах — свет моей настольной лампы и свет чужой мысли и чужой любви.

И если мой день здесь отдан без остатка — до дна души — ветру и солнцу, моя ночь привычно — то есть, как всегда, то есть, как везде — отдана музыке и солнцам иных миров. Но и там, в немыслимости сна, в забытьи чужестранной музыки, я всё же каждое мгновение помню, я твёрдо помню одно: мне достаточно открыть глаза. Открыть глаза, чтобы в темноте разглядеть очертание лампы на столе и сказать себе самое главное. Самое главное и самое лучшее из того, что может сказать себе человек: я дома.

Нарциссовая зарисовка

Нарциссы я люблю невыносимо, почти мучительно. Эти мелкие желтовато-белые, с солнечной сердцевиной цветы продаются на улицах Баку с декабря по март. Их — очень высокие букетики в замысловатом обрамлении зелёных листьев, туго скрученные нитками — продают прямо из вёдер всегда небритые, всегда неулыбчивые мужчины.

Когда я подхожу к нарциссам на улице, чтобы купить несколько букетиков, мне всегда продают их по двойной це-

не. «Сперва спроси, сколько стоит, потом бери в руки», — говорит мне муж, когда я со вздохом сообщаю, что меня опять обманули. Я киваю головой, но потом забываю.

Если вы когда-нибудь теряли голову от встречи с кем-то любимым вами, тогда вы понимаете, что происходит со мной в тот момент, когда я их вижу. Увидеть нарциссы — это всё равно, что увидеть близких друзей после долгой разлуки. А разлука каждый раз бывает долгой. Я прижимаю их к груди, я зарываюсь в них носом, внюхиваюсь в них, внюхиваюсь до глубины, до предела, если у аромата есть предел… И, счастливая, спешу с ними домой, по дороге тайком целуя их лепестки.

Дома у нас есть небольшая хрустальная ваза, «специальная» ваза для нарциссов. Нарциссы стояли в ней и много лет назад. Помню, когда я была совсем маленькая и к нам в гости приходила моя сводная сестра, она всегда приносила несколько букетиков для моей мамы. И тогда их ставили в эту вазу. Один букетик нарциссов стоил тогда 20 копеек. Это были самые дешёвые цветы, но не для моей сестры.

Только недавно она призналась, что деньги на цветы ей приходилось откладывать из тех денег, которые давала на школьные завтраки её мама. Многое изменилось, и цена на нарциссы в том числе… Изменилось многое, почти всё, но только не их аромат. Будоражащий, свежий, пряный, и только на самом дне — сладкий… Сладкий до головокружения, которое случается с нами от счастья.

Подарок на Рождество

И только к вечеру пошёл настоящий снег. Он падал косыми широкими полосами, потому что ветер сопровождал его. В свете фонаря казалось, что горит большой экран и по экрану идут и идут эти полосы, и не видно ничего, не различимо ничего, кроме бесконечных голубовато-белых, бегущих наискось полос. И яркого, льющегося с экрана света. Снег не шёл, он падал, сыпался, валил густыми хлопьями, не переставая, не уставая, не замедляя скорости падения. Не помещаясь в отведённом для этого действа пространстве, заняв собою сразу всё небо над городом, снежинки падали не поодиночке, не невесомыми лепестками и не танцующими мотыльками, как было утром. Они падали весёлыми группами, цепляясь друг за друга, становясь всё тяжелее и тяжелее, всё веселее и веселее, склеивали ресницы и не давали открыть глаза, если какой-то смельчак вдруг решался остановиться посреди дороги и постоять с полминуты спокойно, запрокинув к небу лицо и приветствуя единственным возможным способом такого редкого в этих краях гостя. А потом ветер усилился, и полосы на экране превратились в многослойные, рвущиеся в небо шёлковые белозвёздные шлейфы. Мириады звёздочек на воздушной трепещущей ткани горели и переливались, мерцали и улетали ввысь, ввысь, странным образом всё время оказываясь на месте, никуда не дева-

ясь, потому что картина на экране оставалась всё той же, не меняясь на протяжении часов, на протяжении целой ночи. А с самого раннего утра нам надо было улетать. Каникулы у детей заканчивались… И мы каким-то образом, каким-то чудом доехали до аэропорта, машина скользила, не слушаясь, все дороги за ночь сделались стеклянными.

Мороз в южном городе — редкость, и каждый раз, когда случается, он всех застаёт врасплох, всегда оказывается, что никто не готов, ни люди, ни машины, ни дороги, ни самолёты… Вышли из машины в налетающую, уносящую за собой, отрывающую от земли снежную темноту… Смеясь, задыхаясь, что-то крича друг другу, но друг друга не слыша, добежали до дверей, ведущих в здание аэропорта. Мы не улетели в тот день. Протомившись шесть часов, сонные в сонном аэропорту, мы вернулись домой. И мама была так рада, что мы не улетели, и мы были так рады, что вернулись — после слёз прощания такая неожиданная встреча, такой подарок. Такой подарок!.. Этот день, седьмое января, и ещё три дня, которые мы провели в заснеженном, превратившемся в ледяную сказку городе, были поистине даром небес. И стали для меня одними из самых счастливых дней прошедшего года. Были ещё несколько счастливых дней в ушедшем году, но о них я расскажу как-нибудь в другой раз.

Иностранный акцент

(О многом понемногу)

Пять чашек

За несколько дней до католического Рождества в витрине маленького, почти неприметного чайного магазина я увидела набор из пяти керамических чашек. Небольшие, без ручек, довольно узкие и только чуть расширяющиеся кверху, они лежали, глубоко утопленные в коробку. И каждый раз в тот момент, когда я проходила мимо и взгляд скользил по ним, будто в торопливой сутолоке предпраздничного города, заглушая все остальные звуки, кто-то ударял в огромный гонг. И звук этого гонга, глубокий и чистый, начинал расходиться концентрическими кругами, захватывая всё большую и большую площадь, пока не оставалось ни смеха вокруг, ни громких голосов, ни машин, проезжающих мимо. Не оставалось и звука мыслей, беспокойно перепрыгивающих с места на место, не оставалось и самих этих мыслей. На несколько секунд в уме воцарялось, подобное звуку гонга, глубокое и чистое молчание.

На четвёртый или на пятый раз я зашла в тот магазин. Оказалось, что это японские буддийские чашки ручной работы, их пять, потому что по традиции дней в неделе тоже

пять. Я спросила, можно ли их взять в руки, и на ощупь они оказались шероховато-неровные. Чашки были разных неброских цветов, и на каждой — какой-то особенный отличительный знак, такой штрих, точнее, мазок тушью. Купила я их, конечно. Решила, что моя будет тёмно-кремовая с коричневыми тёплыми точечками, остальные тоже каждый для себя какую-то выбрал. Но для кофе с молоком и для чая они маленькие. Мы из них несколько раз глинтвейн пили. Теперь, когда все праздники зимние закончились, я их в буфет убрала, в той же коробке, в которой и купила. Но каждый раз, когда дверцу открываю и взгляд на той коробке задерживается, неизменный кто-то снова ударяет в огромный гонг. И звук глубокого и чистого молчания начинает расходиться широкими концентрическими кругами, и время на несколько секунд перестаёт существовать.

Простыми словами

Не знаю, как вы, друзья, но я, как оказалось, отношусь к тем людям, которым ориентироваться в происходящем и получать всевозможное от него удовольствие или не-удовольствие в наибольшей степени помогают не зрение, не слух, не руки даже, которым нужно всё потрогать, чтобы самим убедиться… а запахи. Как пахнет? Вот вопрос, который я себе мгновенно… да нет, даже и не задаю, не успеваю. Но неизменно, заходя в дом, подходя к человеку, приезжая в знако-

мое или в незнакомое место, я, говоря простыми словами, принюхиваюсь. Нет, я, конечно, не останавливаюсь на пороге или в шаге от человека и не начинаю, так сказать, внюхиваться, широко раздувая ноздри. На самом деле происходит всё молниеносно и незаметно, но всегда-всегда, раньше, чем увидели глаза, раньше, чем услышали уши, раньше, чем что бы то ни было, на окружающую обстановку реагирует мой нос.

И для всех приятных или нейтральных запахов, с которыми его сталкивает жизнь, у носа существуют — ни много ни мало — три определения. Хотя три — это, скорее, мало, и к тому же они очень простые. Итак, нос определил, что запах может быть либо «свой», либо «чужой», либо «никакой». Причём распространяется это деление в равной степени — я повторюсь — не только на запах любого помещения, в которое я захожу, но и на запах новой страны, нового города, в которых я оказываюсь по приезде, и на запах человека, с которым, скажем, я танцую. Говорю «танцую», потому что, во-первых, действительно танцую, а во-вторых, ближе к неродному человеку, чем в танце, при всём желании трудно оказаться. Если только давка в транспорте и стоишь, уткнувшись носом в чьё-нибудь плечо…

Тут следует сразу оговориться. «Чужой» запах, если он не расценен мгновенно как агрессивный, то бишь субъективно очень неприятный, может со временем превратиться в знакомый и даже сделаться «своим». «Своим» — не в том, ко-

нечно, смысле, что моим. А в том смысле, что со временем он будет приниматься благосклонно. Носом, разумеется, — кем же ещё? Интересно и то, что запах вполне может оказаться «своим» как у незнакомого места, так и у незнакомого человека. И тогда всё становится легко. И с новым местом, и с новым человеком. Помню, как, впервые оказавшись в Италии и уже глубокой ночью заехав на заправочную станцию, мы вышли из туристического автобуса. Какой же это был запах! Глубокий, влажный, волнующий запах ночи, смешанный с запахом цветущих магнолий. Он, этот запах жаркой сырости, исходящий от земли, запах томной сладости, источаемый белеющими в темноте тяжёлыми лепестками, тут же определился как «свой», хотя какие для этого должны были сработать тайные шифры — Бог знает. Но если запах чужой, пиши пропало. Не сложится ни при каких обстоятельствах. Что бы там ни должно было сложиться, оно не сложится.

Помню и то, как в детстве мне пытались найти учительницу музыки. Мне было лет пять, но запах той «найденной» учительницы сейчас же был расшифрован как чужой, и никто не смог меня заставить прийти к ней домой на следующий урок. Хотя вообще-то заставляли меня в детстве часто, делать разное полезное, порой для меня мучительное (те же уроки музыки). Но в том, что касается запахов — нет, «Пахнет!» — говорила я. Родители пугались, воображая, очевидно, страшное. Но страшного не было. Было чужое. Чужой и неприятный — понятия очень часто не совпадающие. Равно

как и приятный запах и запах, воспринимаемый как «свой». Потому как на деле приятный запах часто оказывается «чужим», а неприятный — «своим». Поясню свою мысль на более широком примере. Все бакинцы того же примерно возраста, что и я, и те, кто много старше, «своим», более того, «родным», назовут запах… кира. Запах кира сильный, резкий и, честно говоря, малоприятный. Но вот — «родной» же для многих и многих!

Остались ещё запахи, которые были определены словом совсем уже неопределённым. «Никакие». Так что же о них? Где они прячутся, эти «никакие» запахи? Да повсюду. В шарфе, который я выбираю в магазине, в новой книге, которую беру в руки… Они очень скучны, все эти вещи без запаха. Они не волнуют память, а значит, не будят тайных, ведущих в неведомую даль ассоциаций. Шарф станет интересен, когда тепло тела и аромат любимых духов выделят его из ряда подобных шарфов; книга приобретёт индивидуальность и вес, когда её начнут читать, лёжа перед сном в постели или уютно устроившись в кресле, постепенно передавая её страницам тепло рук, запах дома, запах людей, населяющих этот дом…

Вот вроде и всё, что хотела сказать. И, главное, сказано всё было, как и было обещано — простыми словами.

О ветре, о зимнем Париже и о чём-то ещё

Мне кажется, что иногда, чтобы почувствовать себя счастливым, бывает достаточно просто постоять на ветру… Нет-нет, не на ледяном. Говорят, такие страшные ледяные ветры дуют зимой в Торонто, что по городу приходится передвигаться короткими перебежками — отогреваясь в маленьких кафе, чтобы, напившись горячего кофе или чая и набравшись таким образом мужества, заставить себя в очередной раз встретиться лицом к лицу с этим самым ветром. Не знаю, как в Торонто, но в Париже зимой ветры дуют тоже совсем не радостные. Бесснежные, но такие студёные, что ой-ой-ой. Хочется горячих блинов с сахаром, хочется грога — много, глинтвейна — тоже много. Точнее, без конца. А больше ничего и не хочется. Или на худой конец, добежать до Орсэ или до Лувра, чтобы с чистой совестью несколько часов побыть в тепле. Толпа, правда, раздражает. Раздражает не тем, что много людей собралось в одном месте, под одной крышей, это, как говорят испанцы, lo de menos. А раздражает тем, что она именно толпа, разноязыкая, разношёрстная и такая бесцеремонная. Но в общем, это тоже можно пережить, лавируя между, пропуская вперёд, кося глазами, чтобы никого не задеть, не толкнуть, не наступить. Много детей. Никак не пойму, какая радость молодым путешествующим издалека

родителям гулять по зимнему выстуженному Парижу с двумя-тремя маленькими детьми, один из которых обязательно спит в коляске, про двоих остальных не говорю. Хотя, конечно, если не очень обращать на детей внимание…

Да, о ветре. Бывают такие ветры, от которых хочется жить. Как бывают и такие слова, от которых хочется жить. Которые наполняют нас силой, дарят утешение и уверенность в том, что всё будет хорошо. Эти слова могут быть о чём-то совсем ином, вовсе не претендовать на истину в последней инстанции, но что-то в них такое будет, что наполнит наше сердце счастьем. И мы вдруг мгновенно, безо всякой на то подготовки, каким-то волшебным прыжком-полётом окажемся в том месте, которое есть наш дом. Мы оказываемся в собственном сердце и узнаём, как на самом деле всё хорошо в его глубине. И как покойно и как надёжно. Это ощущение, это волшебное чувство, это прикосновение к сердцу чего-то исцеляющего, оживляющего, это невероятное ощущение близости к чему-то, которое дарит тёплый весенний ветер, скорее всего, будет длиться совсем недолго. Минуту, две? Пятнадцать минут?.. Пока мы идём домой или пока стоим на станции, повернувшись лицом, сердцем, всем своим существом развернувшись к ветру, своего рода подсолнух, ищущий источник нового блаженства. Но в любом случае это ощущение очень скоро пройдёт. Как проходит оно, когда приходит поезд и мы бываем вынуждены смириться с разлукой и зайти в вагон. Двери закрываются, поезд трогается. Ощущение восторга и

благодарности, которое наполняло нас ещё минуту назад, исчезает без следа. Но память об этом ощущении остаётся с нами. И это самое главное. Потому что в холодные бесцветные дни, когда сердце больше всего напоминает кучку пепла и меньше всего — цветущий сад, можно вспоминать. Вспоминать, что скоро, скоро придёт весна, а вместе с ней, в один из дней, прилетит такой ветер. Как раз такой, какой нужен, чтобы встать, распахнув ему навстречу сердце, и почувствовать себя счастливым. Почувствовать себя дома. Почувствовать себя таким, каким ты был, а не таким, каким ты становишься с течением времени. И чтобы чья-то ладонь всё гладила, гладила, всё продолжала гладить твоё такое уставшее за зиму сердце… А ты бы всё стоял, стоял не шевелясь, ощущая его толчки и толчки ветра, и так бы они бились в унисон, внутри и где-то вовне тебя, а ты бы всё стоял и стоял…

Без названия

Когда мы молоды, все наши мысли — прозрачные стёклышки, омываемые ручьём. А наши желания, лёгкие и искрящиеся, подобны россыпи полудрагоценных камней вперемешку с этими прозрачными стёклышками. Дымчатый и розовый нежнейший кварц; маленькие закатные солнышки сердоликов; небеса цвета индиго, сгустившиеся в ляпис-лазурь… Сила воли и сила мысли будут шлифовать их изо дня в день, из ночи в ночь, набегая упрямой и нежной волной.

Некоторые камешки-желания будут выбраны из общей горки чьей-то заботливой рукой. И значит, исполнятся. Может быть, даже многие из них.

С течением времени, к сожалению, вся эта радужная россыпь превращается в перекатывающуюся с места на место бесцветную гальку. Закончилось время, и не вернуть уже молодые мысли, молодые мечты. И вот шуршит, шуршит эта галька, и вместо того, чтобы убаюкивать сладко, как было раньше, как было когда-то, лишает нас сна. Но бывает и так, что среди дневных беспокойств и ночных бессонниц, ты, уже давно разучившийся мечтать, вдруг понимаешь, что в твоём сердце совершается работа. Ты с изумлением обнаруживаешь, что в нём, твоём сердце, рождается самая настоящая жемчужина. Как и все жемчужины в мире, она не рождается ни с того ни с сего. Что-то растревожило твоё сердце, проникло причиняющей беспокойство песчинкой за его крепко сомкнутые створки. Но работа по превращению песчинки в бесценную жемчужину уже началась. Незаметно для тебя, исподволь, так, что когда ты понял, что происходит внутри тебя, в твоей самой потаённой, самой нежной глубине, работа уже совершалась. Ты в недоумении. Какие силы начали её за тебя? Но вскоре и этот вопрос, и так и не найденный на него ответ перестают тебя волновать. Всё становится не важным, кроме одного — работы.

Всей силой мысли, всей силой чаяния, вспомнив, как это сладко — мечтать — ты начинаешь жить жизнью своей жем-

чужины. Ты не видишь её — результат пока ещё далёк. Но ты чувствуешь её, ты растёшь вместе с ней, ты становишься предельно внимательным и чутким. Ты слушаешь себя. Ты начинаешь любить себя, потому что в тебе скрывается сокровище. Никто не знает, никто не видит, но это тоже не имеет большого значения. Самое главное, что ты теперь знаешь. Ты, создатель и единственный хранитель своей жемчужины, знаешь, что время придёт. Время открыть, время подарить её миру. Ты понимаешь теперь, что время не закончилось, ты был неправ. Оно не может закончиться. Время работает на тебя.

Размышления за чашечкой кофе

Чашечка первая

Годы из месяцев. Месяцы — из дней. А дни складываются из бега часов и минут.

Даже не столько из бега часов и минут, сколько из нашего собственного бега по привычному кругу. Можно и не бежать. Можно лететь, идти, даже брести. При слове «брести» почему-то возникают в воображении понурые ослики и водокачки. В испанском языке «водокачка» и «мучение» иногда переводятся одним и тем же словом — noria. В стихотворном тексте можно встретить такое выражение, как «noria de amor». «Amor», как известно, «любовь». «De amor» —

«любовь» в родительном падеже. Ну, а «noria» — тоже уже известно. В общем, общими усилиями перевели. Это я всё веду к тому, что, попав в круг, ты не можешь стоять. Никто не может. Ни ты, ни ослик, ни влюблённый. Бывает, конечно, что по какой-то причине и постоял недолго. Но только недолго. Закон часовой стрелки.

Говорят, вернее, читала когда-то, что мы движемся не по кругу, а по спирали. Только для того, кто внутри и движется, разница не очень заметна. То есть для нас с вами её практически нет. Разумеется, своего рода утешение — знать, что ты не в круге, а на очередном витке спирали. Но только постоянно помнить об этом не получается. Поэтому всё твоё движение, пусть и чисто субъективно — по кругу. И самое приятное, что может случиться с нами в течение дня, — умудриться из этого круга выйти. Вырваться. Устроить себе маленький праздник, который ничего особенного не предполагает. И даже не является праздником непослушания. Наоборот, это очень законный, заслуженный, заработанный праздник. Короткий, как переменка между двумя уроками. У каждого он свой, привычный и давно любимый ритуал. Который нам нужен в первую очередь для того, чтобы остаться наедине с собой. Или наедине друг с другом. И попутно доставить себе одно из трёх положенных за день удовольствий. Про три удовольствия в день я тоже когда-то где-то прочитала. У меня таким любимым и восстанавливающим душевный баланс ритуалом является долгое сидение-размышление, по-

ка я пью кофе. И лучше, конечно, пить кофе в каком-нибудь знакомом месте. Вот, например, та чашечка кофе, которую я два раза в неделю выпиваю в почти пустом кафе, где работает старый китаец. Этот «старый» китаец — отец «молодого» китайца, который то ли разбогател, то ли открыл другое кафе. С недавних пор его совсем не видно. И сейчас, как ни зайдёшь, старый китаец сидит за одним из столиков и раскладывает пасьянс. Хотя, если внимательней посмотреть, то совсем он не старый. По-испански не говорит. Знает, кажется, всего несколько слов. Умиротворение и покой исходят от него, но удивительно в старом китайце другое. Его, при том, что он есть, как будто совсем нет. И что-то ещё… да, это ощущение улыбки, которой тоже, как и самого китайца, вроде нет. Но которая в то же время есть. Рядом с ним, почти всегда во второй половине дня, мальчик и девочка, лет пяти или шести. Внучата. В чём-то ярко-розовом и ярко-жёлтом. Сидят молча, потому что смотрят телевизор. Мультики или новости. Им всё равно, что смотреть. Мне тоже всё равно, что они смотрят. Я сажусь спиной к телевизору, лицом к открытой двери. Прошу очень горячий кофе с молоком. И остаюсь одна, наедине со своими мыслями. Иногда я записываю то, что приходит в голову, на бумажных салфетках. Потому что лень запоминать, а потерять мысль не хочется. И тогда я рада тому, что ручка оказывается в сумке.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.